

В ПОИСКАХ ИСТИННОЙ РОССИИ

Провинция в современном националистическом дискурсе



Современная западная русистика

«Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»

Людмила Парц

В поисках истинной России. Провинция в современном националистическом дискурсе

«Библиороссика» 2018

Парц Л.

В поисках истинной России. Провинция в современном националистическом дискурсе / Л. Парц — «Библиороссика», 2018 — («Современная западная русистика» / «Contemporary Western Rusistika»)

ISBN 978-5-6046149-7-6

Книга доктора философии, доцента Университета Макгилл (Монреаль) Людмилы Парц посвящена рождению и функционированию современного мифа о русской провинции. Парц встраивает нарративы о русской провинции в рассказ о попытке пересборки постсоветской идентичности на основе националистических представлений о локальности и малой Родине. Миф о периферии выводит мечты о подлинной «русскости» за пределы Москвы — туда, где живут настоящие Другие, сохранившие подлинный дух и моральное превосходство как над жителями центра, так и над обитателями условного Запада. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 316.7 ББК 71.41(2)

Содержание

Слова благодарности	6
Введение	7
Определение	10
Новое определение	13
Национализм и культурные мифы	18
Тернарная модель «провинция – столица – Запад»	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Людмила Парц В поисках истинной России. Провинция в современном националистическом дискурсе

Моим дочерям, Юлии и Адели

Lyudmila Parts
In Search of The True Russia
The Provinces in Contemporary Nationalist Discourse

The University of Wisconsin Press 2018

Перевод с английского Ольги Полей



- © Lyudmila Parts, text, 2018
- © The University of Wisconsin Press, 2018
- © Полей О. В., перевод с английского, 2021
- © Academic Studies Press, 2021
- © Оформление и макет. ООО «Библиороссика», 2022

Слова благодарности

Этот проект стал естественным продолжением моей работы по изучению культурных мифов, в особенности мифа, связанного с творчеством Чехова, в котором провинция занимает такое важное место. Особое значение, которое культурный миф о провинции приобрел в последнее время, требует отдельного исследования. При финансовой поддержке Совета по общественным и гуманитарным исследованиям Канады я совершила несколько поездок в Россию – для работы в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа – а также на научные конференции в США, Канаде, России, Германии и Финляндии.

Многие коллеги и друзья оказывали мне интеллектуальную и моральную поддержку и делились своими ценными замечаниями. За многочисленные и содержательные экспертные оценки и советы я в особенности благодарна Энн Лонсбери, Марку Липовецкому, Нэнси Конди, Биргит Боймере, Эдит Клюс, Сьюзен Смит-Питер, Дирку Уффельманну, Илье Кукулину и Валерии Соболь. Оживленные дискуссии на организованной Эдит Клюс и Ани Кокобобо в Университете Вирджинии конференции по региональной идентичности побудили меня прояснить различия между регионами и провинцией и вопрос о том, чем же все-таки Воронеж не Париж. Обмен мнениями на организованной мной в Университете МакГилла конференции, посвященной воплощению образа провинции в кино, также помог мне яснее определить, до какой степени сходны между собой в современном культурном представлении деревня и провинция.

За редактирование и корректуру рукописи, а также за перевод бесчисленных русских цитат, выполненный изящно и с сохранением всех оттенков смысла, я должна выразить особую благодарность Кристине Стайгер. Разделы главы 3 в более ранних вариантах публиковались в Slavic Review. Vol. 74, № 3 (осень 2015) и Zeitschrift für Slavische Philologie. Vol. 68, № 1 (2011). Мне хотелось бы поблагодарить редакторов и анонимных читателей этих журналов, а также сотрудников University of Wisconsin Press за их ценнейшие комментарии.

Самым главным и неизменным источником поддержки для меня всегда были мои родные: Владимир Парц и наши дочери Юлия и Адель, которые никогда не спрашивают, о чем я пишу, но всегда готовы об этом послушать.

Введение Воображаемая провинция

Незрелость глухой провинции и гнилость государственного центра – вот полюсы русской жизни.

Н. Бердяев, 1918

Сто лет назад философ Николай Бердяев писал, что «география русской души» подавлена и угнетена простором русской земли [Бердяев 1990а: 62-63]. Традиционное разделение этого необъятного пространства на центр и провинцию он считал прискорбным заблуждением, особенно в том, что касалось интеллигентских поисков подлинного русского духа: «Люди культурных и интеллигентных центров слишком часто думают, что центр тяжести духовной и общественной народной жизни – в простонародье, где-то далеко в глубине России». Вооружившись предвзятыми представлениями о сущности русскости, они рассчитывают найти ее в отдаленных уголках России. Бердяев предлагает отказаться от этой ложной дихотомии в пользу равноправного развития морального и культурного потенциала России в целом, начиная с души каждого отдельного человека: «Истинный центр не в столице и не в провинции, не в верхнем и не в нижнем слое, а в глубине всякой личности» [Бердяев 19906: 70]. В сегодняшней России, как и на протяжении двух последних столетий, неразвитая провинция и «гнилой» центр остаются двумя противоположными полюсами «географии русской души». К совету философа на протяжении всего XX века так и не прислушались. Более того, после распада Советского Союза бинарная оппозиция «столица – провинция», лежащая в основе русской культуры, приобрела новое значение и вышла на первый план общественного дискурса. Сегодняшние столичные интеллектуалы вновь ищут дух русскости в отдаленной глубинке провинциальной России, в то время как их провинциальные коллеги активно участвуют в разработке идеи провинции как обители вечных ценностей и русского национального духа.

В этой книге провинция рассматривается как воображаемая среда обитания подлинной русскости. Восприятие провинциальной России в качестве сферы, в пределах которой следует рассматривать прошлое и будущее страны, проблемы идентичности и аутентичности, а также другие вечные и, по всей видимости, неразрешимые вопросы, помещает провинцию в центр русской культурной мифологии. Миф о провинции предоставляет современной культурной элите семиотический аппарат, позволяющий сформулировать новую постимперскую идентичность России. Современные культурные разработки отводят место истинной русскости за пределами Москвы – с недавних пор процветающей, многонациональной и прозападной. В массовой культуре традиционное привилегированное положение центра по отношению к отсталой провинции уступает место восприятию провинции как оплота национальных традиций и нравственной силы. В противоположность этому высокая литература и артхаусные фильмы представляют альтернативный, острокритический образ провинции. В обоих случаях предметом обсуждения остается особая концепция русскости, в которой провинция играет центральную роль.

Почему же случилось так, что провинция русских классиков – все эти унылые городишки, изнывающие от скуки и ощущения собственной неполноценности, – в современной литературе и кино так часто стала фигурировать в роли среды, формирующей и сохранающей русскую национальную идею? Этот современный сдвиг в сторону преимущественно позитивного взгляда на провинцию происходит в тот момент, когда она включается в дискурс национа-

лизма. В рамках этого дискурса фундаментальная бинарная оппозиция «провинция – центр» пересекается с не менее фундаментальной в российской символической географии оппозицией «Россия – Запад». В том семантическом поле, в котором эти две бинарные оппозиции пересекаются в постсоветской культуре, противопоставление «провинция – столица» становится тематической и идеологической альтернативой неизменно напряженным отношениям России с Западом. В свете этого развития я и рассматриваю провинциальную тему в постсоветской журналистике, литературе и кино как культурную репрезентацию русского национализма.

Фокусирование внимания на провинции в современном националистическом дискурсе дает возможность отойти в обсуждении национальной идентичности России от психологически некомфортного противопоставления ее Западу, основной мотив которого неизменно сводится к реакции страны на утрату имперской мощи и престижа. Описанный ранее подход предлагает вместо этого герметичную национальную модель, которая выполняет сразу две задачи: заменяет превосходящего Другого (Запад) менее однозначным Другим (провинция), одновременно утверждая динамику благожелательного превосходства в новых национальных границах. В конечном счете фокус на провинции предлагает модель национальной идентичности, основанную на оппозиции «мы – мы» вместо традиционной «мы – они».

Культурный миф – идеологическая конструкция. Это определенный тип дискурса, посыл, определяющийся историческими условиями; он может означать все что угодно, в зависимости от того, что современный, исторически сложившийся потребитель считает для себя важным; он «не может возникнуть из "природы" вещей» [Барт 1994: 72]. Это способ толкования, приспосабливающий образ прошлого к тому, чтобы подтвердить с его помощью образ настоящего. Во времена масштабных исторических сдвигов – таких как революционные десятилетия начала XX века и постсоветский период – культурный миф обеспечивает единство культуры, переживающей процесс пересмотра 1. Культурный миф по определению имеет мало отношения к реальности и гораздо больше – к тому, каким образом культурная элита 1 (интеллигенция) выстраивает свою интерпретацию этой реальности.

Определение провинции как культурного мифа требует некоторых пояснений. Мы, разумеется, знаем, что провинция существует – населенная миллионами людей, обсуждаемая экономистами и политиками и изображаемая писателями и режиссерами. И в то же время реальные российские города, большие и малые, имеют очень мало общего с культурным мифом о провинции, сложившимся за последние два столетия. Как и все культурные мифы, миф о провинции отражает не саму провинциальную реальность, а скорее некое восприятие этой реальности, транслируемое интеллигенцией в прессе, литературе, а также (с момента их зарождения) в кино, на телевидении и в интернете. Историки и социологи изучают регионы – то есть «настоящую», географическую провинцию, в которой можно побывать, – с точки зрения их истории, обычаев, ландшафта, административных и политических структур². Между тем исследователи литературы, кино и культуры изучают провинцию как текст – то есть рассматривают способы, которыми авторы конструируют эту провинцию и встраивают ее в символическую русскую географию в своих литературных, кинематографических или научных трудах.

Сегодняшний культурный миф о провинции имеет сложную структуру и продолжает сочетать в себе два противоположных взгляда на нестоличную часть России – как на удушающую среду (какой она предстает в прозе Гоголя, Чехова и Сологуба) и как на идеализированную сокровищницу «русскости». В современной культурной мифологии, в особенности в массовой культуре, преобладает именно второй, до сих пор минимально разработанный взгляд на провинцию как на воплощение в концентрированном виде всех компонентов позитивной

¹ О мифе и культурной памяти см. [Parts 2008].

² Краткий, но исчерпывающий обзор терминов и тенденций провинциальных исследований см. [Smith-Peter 2011]. Бесценный ресурс – [Милютина, Строганов 2012].

национальной идентичности: великодушия, доброты, душевности, щедрости. Провинциальная русскость позиционируется как средство противодействия высокомерию, черствости и эго-изму Запада и прозападной Москвы. По сути, провинциальный миф влился в дискурс национализма, вследствие чего большую часть изображений провинции, как положительных, так и отрицательных, можно рассматривать как высказывания о русском национальном характере. В этой роли миф породил множество культурных текстов, разъясняющих роль провинции в создании новой географии русской души.

Прежде всего, я хочу проследить историю провинции как концепции и обозначить основные черты провинциального мифа. Однако основное внимание я намерена уделить постсоветскому периоду, когда этот миф претерпел беспрецедентные в истории русской культуры изменения.

Определение

Термин «провинция» вошел в русский язык в конце XVII века, во время административных реформ Петра Великого. Целью этих реформ было урегулирование экономических, торговых и налоговых отношений столицы с другими городами, то есть замена «бытовой географической области административной единицей» [Зайонц 2003: 308]. Тогда сформировалась региональная иерархическая система, включавшая в себя губернию, провинцию и уезд. В 1775 году Екатерина II реорганизовала эту систему, упразднив провинцию как административную единицу; территории провинций в большинстве своем вошли в состав губерний, и официальное определение «провинция» перестало существовать. Вследствие этого, освободившись от прежнего значения, слова «провинция», «провинциал» и «провинциальный» обрели в российском культурном воображении новую функцию: функцию маркеров культурного мифа, организующего обширное пространство Российской империи в виде базовой бинарной оппозиции «центр — провинция». Как отмечает Людмила Зайонц в своем анализе концепции провинции и ее истории, утрата определяемого объекта позволила слову «жить как открытая лексическая форма, порождающая свое текстогенное пространство» [Зайонц 2003: 308].

Даже к концу VIII и началу XIX веков ни «провинция», ни «провинциал» еще не вошли в словари и не приобрели какой-либо отрицательной коннотации. Читательская публика того времени чрезвычайно интересовалась литературными изображениями помещиков, которые теперь, после освобождения от обязательной государственной службы, согласно екатерининской «Жалованной грамоте дворянству» (1785 г.), безвыездно проживали в своих загородных поместьях [Raeff 1966; Cavender 2007; Доманский 2006; Григорян 2010]. После отмены крепостного права в 1861 году эти по большей части отрадные картины сельской жизни уступили место историям трагического перелома [Hughes 2006]. Более того, примерно в то же время, когда занятый своим хозяйством сельский землевладелец обрел шансы быть представленным в положительном руссоистском свете, слово «провинциал» стало приобретать отрицательные коннотации, обозначать человека отсталого и неотесанного. То есть в то время как сельская местность несла в себе весьма привлекательные символы чистоты и близости к природе, провинциальный город ассоциировался со скукой и грубостью нравов. Другими словами, здесь действовали две разные бинарные системы: «столица – провинция», в рамках которой периферия описывалась преимущественно в отрицательных терминах, и «столица – деревня», толкующая сельскую жизнь в лирических терминах «сентиментального пасторализма» [Hughes 2006:131]. Две культурные концепции – провинциальный город и сельская усадьба – порождают разные типы сюжетов и принадлежат к разным символическим географиям; при этом обе они приобретают значение и смысл только по отношению к столице (и по контрасту с ней).

В то время как слова «деревня», «помещик» и «крестьянин» занимали в русском культурном воображении XIX века свое важное и четко определенное место, о концепции провинции этого сказать было нельзя. Последний термин был настолько широк по своему значению, что охватывал самые разнообразные представления обо всей стране за пределами столицы. К середине XIX века это слово нашло свою нишу, и провинция (в отличие от сельской местности) стала обозначать всю Россию: «...областная иерархия растворяется в едином провинциальном пространстве. Империя разделяется на столицу и провинцию. Все пространство России за исключением двух столиц осознается и обозначается как провинция» [Зайонц 2003: 318]. Таким образом, это слово прочно вошло в язык русской литературы и культуры не столько в административном или научно-географическом смысле, сколько в качестве мифологемы, относящейся к области символической географии. Сконструированную таким образом провинцию можно было лишь вообразить, но не посетить; она не обладала ни собственным ори-

гинальным именем, ни какими-либо характерными чертами и вообще могла располагаться где угодно между центром и экзотической периферией³. В этом смысле провинция представляла собой неструктурированное пространство за пределами столицы, очаг предрассудков, страхов и иллюзий. Провинциальное пространство можно было рассматривать либо как отсталое, лишенное надежд и жизненных сил, либо, напротив, как обитель вечных ценностей и народного духа.

Словарные определения отражают этот сдвиг значения от административной единицы к мифологеме и иллюстрируют тот факт, что слово «провинция» и его производные - «провинциал», «провинциальный», «провинциальность» – приобрели устойчивые негативные коннотации. Владимир Даль (1863) определяет провинцию в нейтральных выражениях, так же как и другие административные единицы – губернию, область, округ, уезд. Его же определение «провинциала» как человека, живущего «не в столице», а в «губернии, уезде, захолустье», уже несколько менее нейтрально, поскольку «захолустье» - термин явно уничижительный. Источники XX века, в том числе авторитетные словари Ушакова (1940) и Ожегова (1949), помечают «провинцию» как слово иностранного происхождения и определяют в самых общих терминах, как «не столицу»: «вообще – территория страны в отличие от столиц». Отрицательно окрашенные определения относятся только к прилагательному «провинциальный»: «перен. Отсталый, наивный и простоватый». Постсоветские словари повторяют приведенные ранее определения, однако включают коннотации «отсталости» как для существительного («Местность, находящаяся вдали от столицы, крупного культурного центра. Употр. как символ косности, отсталости»), так и для прилагательного («Свойственный провинциалу. Отсталый, наивный и простоватый») [Евгеньева 1999].

В советском официальном языке как слово, так и само понятие «провинциальный» были фактически под запретом; их заменяло нейтральное обозначение «периферия» – некая отдаленная местность, где «люди работают так же настойчиво, дружно, самоотверженно, как и в центре» [Зайонц 2003]. После революции 1917 года, как отмечают ученые, «история провинции закончилась, и началась история периферии и глубинки» [Клубкова, Клубков 2009:29]. Как «периферия», так и «глубинка» – существительные единственного числа; таким образом, их грамматическая форма подчеркивает однородную, недифференцированную природу этого пространства. Предложный падеж и множественное число термина «на местах», напротив, подразумевают подчинение центральной власти. Однако, если оставить в стороне различия, и нейтральная «периферия», и загадочная в пространственном отношении «глубинка», и иерархическое «на местах» имеют одно общее свойство: они не связаны с каким-либо предшествующим культурным дискурсом и, следовательно, не нагружены никакими ценностями. Однако они постоянно фигурируют в официальном дискурсе советских газет, при этом в роли противовеса этим подчеркнуто нейтральным обозначениям на протяжении большей части XX века выступают такие причудливо звучащие реальные и вымышленные топонимы, как Чухлома, Мухосранск, Урюпинск и Хацапетовка [Белоусов 2004] 4. Негативные коннотации, связанные с провинцией, были настолько устойчивыми, что подпортили даже предполагаемый «нейтральный» статус ее замен. Алексей Юдин прослеживает негативные коннотации, приобретенные «периферией» в течение XX века, и заключает, что в результате в постперестроечный период «новым эвфемизмом для нейтрального определения удаленных от столицы территорий стало слово «регион» [Юдин 2006]⁵.

³ Анализируя культурный ландшафт России, Владимир Каганский строит свои рассуждения вокруг этого различия: периферия определяется отсутствием самодостаточности; следовательно, она полностью управляется государством-центром. В отличие от нее провинция представляет собой сеть связанных между собой малых центров, относительно самодостаточных, в равной степени удаленных от центра и от того, что образует периферию страны [Каганский 2006].

⁴ См. также [Асламова 2005].

⁵ См. также [Ахапкина 2001].

Таким образом, негативное восприятие провинциальности, приравниваемой обычно (до недавнего времени) к отсталости и неполноценности, оказалось на удивление стойким⁶. Провинции, какой ее было принято воображать в русской культурной традиции, недостает многого: доступа к культуре, к последним новостям из сферы моды и политики; вкуса и оригинальности мысли; перспектив успешной карьеры или замужества; самоуважения, в конце концов. Тем, кто читал литературу XIX века, знакомы картины удушающей провинциальной атмосферы с характерной для нее ограниченностью взглядов и любовью к сплетням. Согласно этому представлению, интеллектуальная жизнь в провинции – лишь копия, бледная и зачастую комичная, действительно прогрессивной интеллектуальной мысли центра, а провинциальные культурные явления по большей части вторичны. Господствующее эмоциональное состояние провинциальной жизни – скука, ее преобладающий цвет – серый. Пространство провинциального города однообразно и демонстрирует отсутствие воображения, улицы его, как правило, грязны и покрыты огромными лужами или густой пылью.

Однако самое главное, что нужно помнить о провинции, описанной ранее, – это то, что она воспринимается таковой с точки зрения центра – места, предположительно обладающего всем тем, чего недостает провинции. Повторяющиеся дихотомии, на которых строится оппозиция «провинция – столица», включают в себя противопоставление природы и культуры, статики и динамики и даже (в звуковых и визуальных терминах) тишины и монотонности в противоположность шуму и пестроте [Разумова, Кулешов 2001: 15]. Все эти атрибуты легко опознаваемы; однако самое любопытное в них – способность культурного текста менять положительное значение любого из них на отрицательное и наоборот. В своем отрицательном виде провинциальная жизнь означает недостаток культуры, а также застой, скуку, подражательность и ограниченность взглядов. При положительном отношении те же самые черты переосмысляются как возможность без суеты наслаждаться жизнью и предаваться раздумьям. С этой точки зрения провинциалы ближе к природе, крепче привязаны к земле и к истории страны. А самое главное – провинциальные жители не столь подвержены капризам моды, как жители столицы, и, следовательно, их образ жизни позволяет сохранить национальные культурные традиции. Таким образом, комплекс провинциальной неполноценности часто сопровождается его компенсаторной противоположностью, представляющей все атрибуты провинциальной жизни в виде преимуществ перед центром. В малых масштабах подобные перестановки происходят регулярно. В исторические периоды радикальных изменений такая перемена отношения знаменует собой значительные культурные и идеологические сдвиги.

⁶ См. прежде всего [Lounsbery 2005].

Новое определение

Поскольку провинция как топос представляет собой «объект идеологической рефлексии» [Boele 2001], особое значение это слово приобретает во времена культурных и политических сдвигов. В период между двумя революциями в начале XX века позитивный взгляд на провинцию на короткое время занял видное место в дискурсе пассеизма (ностальгического предпочтения прошлого настоящему), подпитываемого имиджем провинции как чегото чистого, незагрязненного, хранилища национальных традиций и духовных ценностей. Л. О. Зайонц отмечает, что в 1910-е гг. взгляд на провинциальные территории «из нарративной области перемещается в сферу научной историко-культурной рефлексии» [Зайонц 2004:428]. В этот период в центральной периодике публиковалось множество материалов о провинции и из провинции, и, когда провинция стала объектом исследования, «нестоличная культура была объявлена чем-то вроде "национального заповедника", где любой объект становился экспонатом» [Зайонц 2004: 428]. Таким образом, пассеизм породил особое видение провинции: она предстает в нем «в виде культурно-исторической резервации, в недрах которой, как позже с тоской напишет Ф. Сологуб, "так много было скрыто чистых сил и вещих снов". Устойчивый комплекс иллюстрирующих литературных аллюзий от Пушкина до Чехова довершал картину» [Зайонц 2004]. Крупные деятели культуры, историки искусства и художники начали предпринимать поездки в провинцию и публиковать статьи о провинциальной архитектуре и предметах быта. Провинциальный дискурс обзавелся собственными издательскими площадками: журналами («Русская старина») и энциклопедиями, такими как «Великая Россия: географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России» (1912). В Москве открылся книжный магазин «Сотрудник провинции», многочисленные этнографические экспедиции представляли свои открытия для обсуждения на открытых заседаниях [Зайонц 2004: 429-430].

Александр Эткинд описывает рост интереса к зависимым территориям – в данном случае к собственным землям России (которые он определяет как внутренние колонии) – как характеристику колониализма в эпоху упадка империи.

Русское народничество, восторженное поклонение эксплуатируемому народу накануне конца империи, функционально эквивалентно западному ориентализму, как его описал Эдвард Саид: обостренному интересу имперских центров к своим колониям, который мотивирован потребностью в знаниивласти и одновременно чувством вины [Эткинд 2001]⁷.

Пассеизм начала XX века также рассматривал «экзотические» обычаи и произведения искусства сквозь призму своей ориенталистски настроенной интерпретационной парадигмы. Как и все культурные мифы, сконструированный образ провинции — поэтический и манящий — к реальности отношения не имел. Скорее, он отвечал потребностям культурной элиты центра [Шевеленко 2012]. Порожденный духом времени и отличающийся острым осознанием неизбежности перемен, провинциальный миф был востребован. Вспышка ностальгии, предвещавшая и предвосхищавшая конец эпохи, требовала создания устойчивого образа уходящей реальности.

Волна пассеизма, породившая новый всплеск интереса к провинциальному мифу в постсоветский период, тоже вызвана крупными социально-политическими изменениями и под-

⁷ Эткинд замечает, что «для постколониальных метрополий обычен комплекс таких чувств, как сожаление о привилегиях, стремление снизить свой статус и отдать долг обездоленным, разочарование в идентичности, агрессия в отношении собственной культуры. В варианте внутренней колонизации этот комплекс чувств обращен на "народ", как он сконструирован культурой» [Эткинд 2001: 72].

питывается ностальгией; это широко распространенная культурная тенденция, проявляющая себя в культуре различными способами, от коммерческого кино до научных конференций. До постсоветского периода тема провинции возникала редко – разве что в учебниках истории и филологических трудах, посвященных классикам XIX века. Однако по крайней мере с начала 1990-х годов в большинстве дискуссий о политическом и культурном развитии России провинции стала отводиться большая роль. В 2000 году на одном из многочисленных форумов, посвященных теме русской провинциальной культуры, пермский филолог Владимир Абашев, активный участник этой дискуссии⁸, заметил:

Вообще странно, что о провинции дружно заговорили именно тогда, когда [советской] империи не стало. В 70-е в актуальном языке это слово почти не встречалось. Зато с конца 80-х и по сей день как хлынуло: статьи, конференции, научные программы, и все это пока по нарастающей [Абашев и др. 2000].

Таким образом, провинция стала объектом идеологической рефлексии именно тогда, когда перед нацией встала необходимость приспосабливаться к новым границам и новым отношениям с миром. Новая геополитическая карта России – ее фактическая география – требовала соответствующей новой «символической» географии, а именно – «географии русской души». Роль провинции на этой символической карте крайне важна: это родина настоящей России, как в прошлом, так и в будущем.

Реабилитация провинции и всего провинциального начинается с самих слов «провинция» и «провинциальный». На волне возрождения позитивных ассоциаций многие региональные газеты переименовались в «Провинциальные новости» (известия, хроники) [Спивак 2004]. Издательство «Провинция» распространяет свои еженедельные газеты в двадцати пяти регионах России, кроме того, в период с 1991 по 1993 год начали выходить два крупных журнала – «Русская провинция» и «Российская провинция». Сборники произведений провинциальных писателей и художников, выпущенные в основном в их родных городах (но также и в Москве), вошли в мейнстрим⁹. В качестве примера можно привести и выставки под названием «Провинциальные художники» в московских галереях, и сборники рассказов провинциальных писательниц [Трофимова 2009; Sutcliffe 2009]. По тем же причинам, по которым в начале своей политической карьеры в Москве Борис Немцов позиционировал себя как далекого от столичных политических интриг провинциала [Буле 2000а; Немцов 1997; Немцов 1999], популярная певица называет свой альбом «Провинциальная девчонка». Акционерные общества «Провинциал» (Курск) и «Провинция» (Пятигорск) гордятся качественной местной молочной продукцией; по всей стране малые предприятия под подобными же названиями предлагают различные товары и услуги – от чистящих средств до домашнего ремонта, а служба знакомств «Провинциальная леди», по ее утверждению, представляет скромных, добродетельных, «истинно русских» женщин. Агентства недвижимости «Провинция» открывают офисы в Кургане, Архангельске, Вологде и Ростове-на-Дону; «Ваша провинция» торгует недвижимостью в Московской области, а «Моя провинция» – в Ярославле. Городской фестиваль моды «Провинциальная коллекция» (с 2002 г.) представляет линию одежды «Провинциальный шик»; Воронеж, где проходит собственный фестиваль моды «Губернский стиль» (с 2005 г.), называет себя столицей провинциальной моды; а с 2014 года в историко-культурном комплексе «Вятское» в Ярославской области проходит фестиваль «Провинция – душа России».

Аналогичное распространение слова «провинция» очевидно и в дискурсе более академического характера. С 2004 года телеканал «Культура» транслирует цикл документальных

 $^{^{8}}$ См., в частности, [Абашев 2000], где город Пермь рассматривается как культурная конструкция – совокупность текстов о нем.

⁹ См., в частности, [Кузьмин 2001].

фильмов «Провинциальные музеи России», а в 2006 году создатели телевизионного цикла документальных публицистических фильмов «Письма из провинции» описали его тематику следующим образом: «О культурной жизни российской провинции, о людях, хранящих национальную культуру, о традициях, обычаях народов России». В академических кругах большой интерес к этой теме отражает множество конференций, материалов конференций и сборников статей. Примеры: «Социальная история российской провинции» (Ярославский университет, 2006-2011); «Духовная жизнь провинции: образы, символы, картина мира» (Ульяновский университет, 2003); «Жизнь провинции как феномен духовности» (Нижегородский университет, с 2003 г.).

В 2006 году крупный научный журнал «Отечественные записки» посвятил этой теме выпуск под названием «Анатомия провинции». Заголовок вступительной части – «И последние станут первыми» – мог бы служить девизом новой тенденции в исследовании провинции: подходить к субъекту исследования не как к геополитическому объекту или историческому месту локального значения, а как к предмету, требующему описания в весьма абстрактных терминах националистического дискурса: «традиции», «духовность», «культурное наследие».



Рис. 1. Задняя сторонка обложки журнала «Ярославский стиль», 2006, № 3. Отчет о конкурсе «Провинциальная коллекция»

Многие из этих публикаций фиксируют, хотя и не анализируют, сдвиг в сторону переосмысления провинции в позитивном ключе и представляют собой единодушную и горячую апологию провинции. Больше всего поражает последовательность, с которой идея провинции сводится к понятиям духовности, памяти и традиции, как в приведенных далее примерах:

При всех негативных эмоциональных коннотациях понятия «провинция» в массовом сознании за провинцией закрепилось представление как о цементирующей константе отечественной мысли. Провинция потенциальна в духовном и культурном смыслах. Здесь пока что не

утрачена национально-историческая память... Мир провинции предстает... в неразрывной связи с русским Словом [Дырдин 2003: 9].

Русская провинциальная культура может рассматриваться как вариант сохранения отечественного культурного наследия... В ее пространстве остаются глубоко укоренены важнейшие качества и характеристики всей русской культуры [Купцова 2008].

Закрепленный за провинциальностью определенный комплекс преимущественно негативных значений, которые в современном контексте активно десемантизируются, лишаются своей оценочной функции, обрастают новыми актуальными оттенками смыслов и толкований. Отныне быть провинциальным не означает быть неразвитым, неполноценным, ущербным, но – самобытным, уникальным, здравомыслящим [Фортунатова 2006].

Тут могут возникнуть вопросы по поводу логики такого пересмотра, в частности, относительно того, каким именно образом последние стали первыми, что способно убедить женщину одеться в стиле «провинциальный шик» и чем оправдана гордость провинциалов за свою провинциальность. Как показывают приведенные ранее примеры, позитивная концептуализация провинции происходит в рамках дискурса национальной идеи, и акцент смещается с темы неполноценности на темы исторической памяти, культурного наследия и потенциала провинции для возрождения страны в целом. В результате провинция постсоветского времени предстает средоточием традиций и духовности – местом, где хранится ключ к возрождению России как страны с сильными национальными корнями и столь же сильной идейно и духовно.

Культурные мифы не ограничены рамками реальности, скорее, напротив: они наделены властью формировать наш взгляд на нее. Таким образом, эти мифы представляют собой основу, на которой строится национальная идентичность. Авторы, изображающие провинцию в негативном свете и приписывающие центру мрачный взгляд на социальную и политическую ситуацию в России, разрабатывают тот же самый дискурс национальной идентичности, что и те, кто идеализирует провинцию. В обоих случаях провинция выступает в роли организующего мифа русского националистического дискурса. Именно потому, что националисты поднимают на щит «хорошую» провинцию (как средоточие подлинной русскости), негативное изображение провинции и провинциалов неизбежно рассматривается как ответ на эту идеализацию и альтернативный взгляд на прошлое и будущее России. Националисты воображают – и превозносят – простую жизнь, верность традициям, душевность и чистоту, которые ассоциируются у них с провинциальной Россией; их противники рисуют косность, деградацию и нищету. Пессимистичность такого взгляда только усугубляется тем, что в массовой культуре и коммерческом кино в той же обстановке размещаются позитивные и вдохновляющие образы. Обе группы, вероятно, сгущают краски, но при этом, выражая свое мнение о нынешнем состоянии русской нации, и та и другая опираются на миф о провинции.

Дискурс национализма, то есть совокупность текстов, посвященных интеллектуальному исследованию проблем национализма и национальной идентичности, вмещает в себя различные политические и идеологические позиции. В рамках этого дискурса подход к проблеме, демонстрируемый популярным писателем, будет отличаться от подхода ученого, кинорежиссера или политика. Но тем не менее все они заняты одним и тем же исследованием. В рамках этого дискурса в сегодняшней России националистам противостоят не интернационалисты или глобалисты и, конечно же, не русофобы, а те преимущественно либеральные мыслители, которые видят в национализме консервативную, проправительственную и, по сути, антидемократическую силу, способствующую развитию ксенофобии и тоталитаризма (и часто используемую для их оправдания). В конечном счете расхождение участников во мнениях о том, из

чего складывается понятие «нация», и их зачастую различные политические взгляды имеют второстепенное значение. Важно то, что провинциальный миф способствует обсуждению этой темы и потому критически важен для понимания проблем, связанных с сегодняшним русским национализмом.

Национализм и культурные мифы

Национализм не всегда имел такую дурную славу, как сегодня. Его функция – снабжать общественные или этнические объединения неотъемлемым чувством идентичности и принадлежности к некой общности, стоящей выше категорий класса, образования или имущественного положения. Если общество пытается сформировать некую идентичность, ему необходимы языковые средства, с помощью которых ее можно будет описать и обсудить; обычно такие средства черпаются в рассказах о славных корнях и общей героической судьбе – иными словами, в тех историях, которые и легитимируют национализм, укореняя его в истории и проецируя былое величие на будущее нации. Лишь тогда, когда национализм становится воинствующим и оправдывает агрессию по отношению к другим сообществам, он начинает восприниматься негативно. Однако эта общая и довольно оптимистическая картина очень мало объясняет то, почему же последний сценарий столь распространен и как те или иные истории получают статус национальных мифов. Исследования национализма в XX веке предложили ряд методов анализа его развития и роли в событиях, изменивших мир: в войнах и революциях, в распространении фашизма, в антиколониальных движениях и в образовании новых государств после распада старых империй.

Исследователи национализма применяют различные комбинации политических, экономических, этнических, культурных и религиозных подходов к своему предмету, однако при этом все они признают первостепенной роль культуры в выражении и популяризации националистических настроений. Эрнест Геллнер указывает на невозможность полного отождествления нации с государством и националистических настроений с политическими; он также скептически относится к точке зрения, согласно которой нации представляют собой органически развивающиеся этнические или языковые сообщества, тем или иным путем приходящие к государственности. По Геллнеру, нации – продукт деятельности националистов, а не наоборот; и то и другое - продукты индустриальных культур. По его мнению, национализм приобретает политическую легитимность, «когда социальные условия требуют стандартизированных, однородных, централизованно охраняемых высоких культур, охватывающих все население, а не только элитарное меньшинство» [Геллнер 1991]. Геллнер не уточняет, какими средствами высокая культура формирует национальное чувство; однако другие ученые обращают первостепенное внимание на специфическую роль в процессе создания нации именно культурных факторов. Бенедикт Андерсон позиционирует такие культурные продукты, как образовательные учреждения и воплощенный в печатной продукции капитализм в целом, в качестве факторов, способствующих изменению восприятия людьми своего места в обществе по сравнению с другими. Эти новые способы понимания сообществ, пришедшие на смену досовременным концепциям, позволяют «осмысленно связать воедино братство, власть и время» [Андерсон 2001]. Подобным же образом Хоми К. Бхабха трактует концепцию нации как «форму повествовательно-текстовых стратегий, метафорических смещений, подтекстов и символических уловок». Он фокусируется на амбивалентном культурном языке национализма и отслеживает тот момент, когда культурный авторитет находится «в процессе "сочинения" своего мощного образа» [Bhabha 1990: 2-3].

Бхабха утверждает, что нации «теряют свои истоки в мифах, порожденных временем» [Bhabha 1990:1], в то время как Энтони Д. Смит называет сам национализм «одним из самых популярных и вездесущих мифов современности» [Smith 1991: 19]. Национальная идентичность, по его утверждению, является «коллективным культурным феноменом», более широким, чем национализм [Smith 1991:7]. Смит считает, что этническая идентичность как составной элемент национальной идентичности связывает воедино мифы, воспоминания и символы нации. Как этническая группа, так и нация должны иметь название, общий миф про-

исхождения, общую историю и культуру, территорию и чувство единства. Однако нации, кроме того, необходимо еще и чувство политической общности.

Исследователи русского национализма не обошли вниманием его общетеоретические вопросы, а также проанализировали развитие этой идеологии в огромной, многонациональной и многоэтничной империи, территориально охватывающей Европу и Азию, где отношения между правителями, бюрократическим аппаратом, интеллигенцией и народами, притом не самые мирные, сплетаются во все более сложную сеть. В связи с этим ни социально-экономический, ни культурный, ни этнический подход в отдельности не обеспечивает адекватного анализа развития российской национальной идентичности [Dixon 1998]. Как утверждают, в частности, Джеффри Хоскинг и Вера Тольц, основная проблема русского национализма заключается в том, что формирование этнической русской идентичности, входящей в состав более широкой имперской идентичности, зашло в тупик [Hosking 1997; Tolz 2001; Rowley 2000]¹⁰. Точно так же, как отмечает Терри Мартин, Советский Союз пытался создать единую всеобъемлющую советскую идентичность, стирающую все прочие, хотя, как ни парадоксально, этот процесс включал в себя нечто вроде антидискриминационных мер, успешно институционализировавших этничность [Маrtin 2001].

Эти и другие углубленные исследования обращаются к сложной взаимосвязи между имперской и национальной идеологиями Российской империи и Советского Союза, уделяя особое внимание отношениям между имперским центром и его пограничными регионами, некоторые из которых после падения Советского Союза стали независимыми государствами, а также между этническим ядром страны и другими этносами и народностями. Однако провинциальный миф не задается вопросами межэтнических отношений, колониальных периферий или экзотического Другого. Он полностью сосредоточен на отношениях между двумя довольно расплывчато определяемыми группами россиян: столичными жителями и провинциалами. Символическая география провинциального мифа проста до аскетичности: ее составляют столица и вся остальная часть страны. Столица воплощает в себе политические, административные, культурные, идеологические и символические аспекты превосходства центра над провинциями. Таким образом, несмотря на то что провинциальный миф развивался параллельно с другими основополагающими нарративами России, он определенно уникален в своем роде.

Русские национальные мифы – это истории о славном прошлом и уникальной судьбе; они объясняют, оправдывают или маскируют всё, что составляет «русскость» в ее расхожем понимании, а также определяют политику Российского государства внутри страны и за рубежом в тот или иной исторический период. Наряду с идеями панславянского мессианства важнейшим элементом русского национализма всегда было православие [Clark 2011; Hosking 1997]. В многочисленных светских мифах перед нами предстают великие правители и воины, такие как варяжские князья [Маіогоvа 2010], Дмитрий Донской, Александр Невский и Владимир Мономах; Петр Великий [Wartman 2006]; интеллектуальные фигуры – такие как Михаил Ломоносов [Usitalo 2013], вестернизировавшие Россию, формировавшие и направлявшие ее политическое, научное и культурное развитие в легко узнаваемое русло европейской державы. Истории о великих военных победах оказались настолько полезны для национального самоопределения, что вплоть до XX века оставались основой русской национальной мифологии [Маіогоvа 2010]. Миф о казаке создал привлекательный образ воина-героя – типично русского, но при этом географически далекого от культурного центра. Казак возник как образ Другого и Самости, который, как показывает Джудит Корнблатт, помог «русским осознать себя в исконном

¹⁰ Другим исследователям отношения между национальным и имперским представляются еще более сложными: см. [Miller 2004]; Ольга Майорова замечает, что писатели и мыслители XIX века стремились провести различие между русской нацией и Империей, переосмыслив нацию через культурную мифологию и тем самым освободив ее от «тени Империи» [Maiorova 2010].

контексте, а не только как отсталых сводных братьев Запада, порабощенных европейскими обычаями» [Когп-blatt 1992: 17]. XX век способствовал распространению мифов об освоении Арктики и о советской космической программе [McCannon 1998]^п.

В отличие от этих грандиозных историй, в мифе о провинции нет героев – ни князей, ни генералов, ни воинов, ни ученых, ни исследователей. Однако он, так же как и казацкий миф, приписывает «русскость» в определенном ее понимании некой большой группе, находящейся, что особенно важно, за пределами культурного центра. В силу своей культурной и физической удаленности от этого центра как казаки, так и провинциалы видятся хранителями религиозной и культурной чистоты Древней Руси и нетронутой целостности загадочной «русской души». Провинциалы составляют гораздо более многочисленную и гораздо более аморфную группу, чем казаки – реальные или мифические. Однако, как и казаки, они тоже олицетворяют одновременно Нас и Других, а следовательно, одновременно притягивают и отталкивают.

Конструирование образа Другого – важнейший элемент формирования любой идентичности; большая часть русских культурных мифов предполагает, по крайней мере неявно, образ враждебного, таинственного или высшего Другого, которого русские национальные герои либо покоряют, либо побеждают, либо копируют, либо затмевают. Иностранцы, особенно представляющие условный «Запад», всегда считались самым главным и самым раздражающим Другим для России¹¹². В этой структуре Запад – расплывчатый всеобъемлющий термин для обозначения большей части Европы и, все чаще, Соединенных Штатов. Другими словами, Запад – это все, что не Россия (за вычетом Востока), так же как провинция – это все, что не столица (за вычетом экзотических регионов). Подобные определения способна вместить в себя лишь символическая география. Таким образом, в националистическом дискурсе Запад и провинция фигурируют как культурные мифы, которыми, вкладывая в них какое угодно содержание, можно манипулировать с легкостью и выгодой для себя.

¹¹ См. также [Diment, Slezkine 1993; Gerovitch 2015].

¹² См. интересный обзор в [Cross 2004].

Тернарная модель «провинция – столица – Запад»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.